

АЛЕКСАНДР ГИЛЬФЕРДИНГ

О  
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОКОЙНОГО А.С.  
ХОМЯКОВА

**Александр Федорович Гильфердинг  
О филологической  
деятельности покойного  
А.С.Хомякова**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25722943](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25722943)*

**Аннотация**

«В начале нынешнего года Алексей Степанович Хомяков, извещая об избрании меня в члены Общества любителей российской словесности, просил начать мои чтения в Обществе обзором современной деятельности в области славянской филологии. Мог ли я предвидеть тогда, что первое мое чтение придется посвятить очерку его же собственной филологической деятельности?..»

# Александр Гильфердинг О филологической деятельности покойного А.С.Хомякова

В начале нынешнего года Алексей Степанович Хомяков, извещая об избрании меня в члены Общества любителей российской словесности, просил начать мои чтения в Обществе обзором современной деятельности в области славянской филологии. Мог ли я предвидеть тогда, что первое мое чтение придется посвятить очерку его же собственной филологической деятельности?.. С глубокой скорбью принимаю на себя исполнение этой задачи; но, по недостатку времени, не буду в состоянии представить Обществу подробного изложения филологических трудов и выводов покойного его председателя. Я принужден буду ограничиться только краткою характеристикою его деятельности в этом отношении. Да простят мне также, если в настоящей характеристике я иногда брошу взгляд и за тесные пределы филологической науки. Алексей Степанович менее всех держал науку в рамках специальности; его ум обнимал разом все ее ветви и все их взаимные соотношения. Невозможно определить его деятельность по одной части, не обращая внимания на другую.

Заслуги А.С. Хомякова в деле сравнительного языкознания могут быть вполне оценены только тогда, когда изданы будут все его ученые труды. То, что он напечатал, относительно этой науки, составляет лишь маловажную долю тех лингвистических соображений и выводов, которые он рассеял в своем большом рукописном труде, касающемся всемирной истории. Его «Сравнение русских слов с санскритскими», вышедшее в IV томе «Известий II Отделения Академии наук», есть малая частица того огромного лингвистического материала, который он переработал. Материал этот так велик, так разнообразен, что на переработку его потребовался бы для другого человека усидчивый труд целой жизни, специально посвященный филологическим изысканиям. У Хомякова такая работа совмещалась с самою разнообразною деятельностью по множеству других наук, и груз лингвистического материала не подавлял в этом дивном человеке живости художественного творчества, не заглушал в нем чуткости к современным вопросам общества и человечества. В наших понятиях филология, лингвистика обыкновенно представляется какою-то сухою отвлеченностью, какою-то лишнею роскошью ученого трудолюбия, и лингвист является нам в образе буквоеда, поглощенного отыскиванием корней и звуковых аналогий, ни к чему не ведущих. У Хомякова лингвистика была знанием живым; он сознал живую сторону лингвистики в то время, когда эта наука едва начинала терять в Европе характер пустой ученой игрушки;

она тотчас заняла в его созерцании то место, которое принадлежит ей в живой связи человеческих знаний; свет общей мысли животворил все эти тысячи корней и звуковых видоизменений из всевозможных языков, хранившихся в его памяти, и потому такой громадный лингвистический материал был, как я уже заметил, легким бременем для его ума.

Принимая науку от Запада, Россия вместе с тем приняла отчасти организацию научной деятельности, сложившуюся на Западе: она перенесла, с немецкою наукою, на русскую почву немецкий *Fuch*, который в науке есть не что иное, как цех в ремесле. На Западе такой характер учености должен был естественно развиться из общего хода жизни. В Германии, где начало индивидуальности проявилось всего одностороннее, и *Fach* получил наибольшее значение в ученой деятельности: один ученый посвящал себя исключительно изучению греческих частиц [...] и [...], кроме этих частиц ничего другого знать не хотел; другой – весь свой век изучал *комара*, и кроме комара ничего не видел на свете. В новейшее время германская ученость, имея в числе своем таких людей, как Гумбольдт и Гримм, выходит из тесных рамок специалистов и пытается строить здание из массы материала, приготовленного тружениками специалистами; в этом действует на нее отчасти пример Англии и Франции, где наука хранила большую связь с жизнью. Но при бесконечном своем разнообразии и богатстве, при великих попытках обобщения, наука Запада все остается одностороннею: ибо в ос-

нование кладется взгляд односторонний, и на этом основании возводится здание из фактов, рассмотренных и понятых односторонне; а сколько односторонностей вы ни соберете, ни сопоставите, ни соедините, – органического целого из них не выйдет. Не знаю, согласятся ли мои почтенные слушатели с этим моим мнением; но таково впечатление, которое я получил из всего, что читал и знаю из произведений западной науки.

Хомяков же был человеком всесторонним по преимуществу, и вся многосторонность его знаний, его деятельности составляла в нем живое органическое целое. Эту многосторонность, эту целость он внес и в свои ученые труды. В том его великая, бессмертная заслуга. Усвоив себе все данные западной науки, он сознал их односторонность. Он нам сказал, что мы, что Россия призваны по преимуществу к всестороннему, к живому, органическому построению науки; ибо русский народ свободен от тех предрассудков и предубеждений, от того раздвоения мысли, наконец от той гордости прошлым, которые обуславливают односторонность взгляда у западных народов. И, не довольствуясь общими умозрениями, он попытался выработать и развить те живые, органические начала, на которых должна быть построена всесторонняя история человечества. История в тесном смысле, быт, предания, религия и философские системы, памятники художественные и, наконец, язык, одним словом – все проявления человечества, начиная с его колыбели, все подверглось

его всестороннему анализу; во всем старался он доискаться жизненного значения и все возвести в органическое целое. Этим-то он и обозначает начало новой эпохи в развитии русской мысли, русской науки; поэтому-то и будут называть его «мужем начинания», как уже назвал его один из почтенных наших писателей, – мужем начинания жизненного, плодотворного. Великий пример, который он подал всем русским ученым и мыслителям, не останется без последователей, я в этом уверен. Я говорю: последователей, а не подражателей. Подражать его всеобъемлющей деятельности невозможно: для нее нужна сила и восприимчивость ума, какая дается немногим даже из числа немногих людей с первостепенным талантом. Но хотя бы ограниченность сил и заставляла наших деятелей сосредоточить себя на одном каком-нибудь предмете, последователем Хомякова будет всякий, кто не зароеется в своей специальности, как крот под землю, и не станет в ней верить слепо ни своему, ни чужим авторитетам, а с свободой мысли, с живым сознанием народных и общечеловеческих начал в душе выйдет бодрым деятелем на свой урочный труд. Хомяков первый попытался свергнуть рабство нашей мысли пред Западом; он возбуждал в нас сознание наших народных и общечеловеческих начал; он показывал нам их всеобъемлющее применение. При наступлении новой умственной эпохи нужен бывает такой всеобъемлющий начинатель. Теперь, с этою свободой мысли, с этим сознанием наших жизненных начал и с этим примером рус-

ские деятели пойдут вперед; частные труды не обратятся в черствую специальность немецкой *Facgelehrsamkeit*; все они будут основываться на живой почве, и все, в совокупности, направлены будут к жизненной цели: к развитию самобытного просвещения русского, чтобы русский народ был не бесполезным членом человеческой семьи.

Некоторые из тех, кого стали так удачно именовать у нас «староверами Запада», называли Хомякова дилетантом науки. Им казалось непонятным, каким образом можно быть, например, лингвистом и не предаваться исключительно лингвистике: ибо идея немецкой *Facgelehrsamkeit*, пересаженная на русскую землю, пережила в России господство этой идеи в самой Германии, по природному закону, вследствие которого начала заимствованные остаются неподвижными, тогда как на своей почве они развиваются. В Германии *Facgelehrsamkeit* считается уже явлением отсталым; у нас же многие придерживаются его, как чего-то необходимого. Те, которые называют Хомякова дилетантом в науке, пожалуй, и признали бы его настоящим ученым, хотя, например, в лингвистике, если бы он, не посвящая ей специально своих трудов, стал пользоваться готовыми выводами Боппа, Потта и Гримма и применять их, положим, к истории, как это делают обыкновенно западные ученые, сознающие теперь необходимость подкреплять показания древней истории свидетельствами языка. Но не доверять Боппу, Потту и Гримму, как исследователям слишком односторонним, осмелиться под-



вергнуть их выводы критическому анализу, – это другое дело, и Хомяков дилетант. Я спрошу только: что разумеется под словом дилетант? Сколько я знаю, дилетантом в науке называют того человека, который схватывает верхушки знания и, принимая на веру чужие выводы, пользуется ими, чтобы придать себе вид учености. Скажите же мне: что может быть противоположнее характеру Хомякова, который никогда чужого не принимал на веру, во всем доискивался источника и живого смысла, а в общежитии был чужд всяких наружных примет ученого? И скажите мне: что, с другой стороны, более сходно с понятием о дилетантизме, как не страсть тех самых людей, которые обвиняли Хомякова, – принимать на веру выводы западной науки и посредством этого легкого труда присваивать себе характер учености? От изучения германской философии Хомяков, не удовлетворившись ею, перешел к мысли о необходимости новых начал для полного, живого понимания развития человечества. Углубляясь в историю, в историю религий и философий, он понял жизненную связь лингвистики с этими науками. Он принял за лингвистику как за предмет вспомогательный для истории. Это было в 30-х годах, когда только начинала выходить сравнительная грамматика Боппа, когда сравнительное языковедение было еще новостью даже в западной науке, и когда важность его для истории едва ли кто и подозревал. Собравши, вместе с Пановым, лучшую библиотеку по части славянских наречий, изучивши ее, Алексей Степанович обра-

тил особенное внимание на язык санскритский, как на древнейшую из ветвей арийских. Он первый высказал мысль, что между ветвями арийской речи, которые все связаны взаимным сродством, ближайшее и как бы частное, семейное сродство соединяет три восточные ветви: индийскую, литовскую и славянскую. Эта мысль, которая еще не принята на Западе, для нас сделалась несомненною истиною по сличении лексического материала поименованных языков, и мы выразили ее печатно. Вот что по этому поводу писал нам Алексей Степанович, доставляя нам свое «Сравнение русских слов с санскритскими»: «Посылаю вам труд свой, о котором я уже говорил вам в Москве. Совершен он при всех возможных препятствиях и вдали от всех возможных пособий, частью в деревне, частью на почтовых станциях и на заводе между фабричных работ. Сравнил я с лишком тысячу слов санскритских с русскими, предпочитал вообще формы более развитые первообразным, для яснейшего показания сродства этих двух языков, и удерживая только сходства самые разительные за исключением сомнительных или даже несомненных, но требующих в читателе большого знакомства с перерождением звуков. Если исключить сомнительные и обозначенные мною вопросительным знаком, и слов с пяток малороссийских или церковно-славянских, которые мною помещены по рассеянности, останется еще более тысячи, из коих многие перешли через целый ряд многосложных развития. Я не принял в соображение ни одного областного слова (кажет-

ся, за исключением *мара*), ни малороссийского наречия, ни даже белорусского. При них это число – тысяча, – конечно, более бы чем утроилось. Присоедините потом все богатство славянских наречий, южных и западных, и тогда явно будет такое сходство, которое доходит почти до тождества в лексическом отношении.

Таким образом, труд мой, как он ни недостаточен (в чем, разумеется, я не сомневаюсь), служит явным подтверждением теории, вами высказанной. Точно так же из него явно выходит, что язык славянский и русское его наречие суть остатки первичной формации и (кроме литовского) единственные в мире уцелевшие остатки этой формации. Кажется, даже после беглого взгляда на прилагаемый мною список ни один разумный и добросовестный филолог не усомнится поставить звуковое сродство языков санскритского и русского вне всякого сравнения с сродством других языков, даже эллинского с санскритским (опять, разумеется, за исключением литовского)».

Наш почтенный санскритолог, К.А. Коссович, засвидетельствовал недавно с кафедры Петербургского университета, что он обязан Хомякову основаниями своего ученого образования. Он говорил мне, что еще в 30-х годах Хомяков читал и свободно изъяснял «Ригведу», одну из труднейших книг древних индусов. Независимо от изучения санскритского языка и других арийских ветвей, он усвоил себе главные основания языка еврейского; он изучил остатки

финикийского языка; многие страницы его великого исторического творения свидетельствуют, что он старался вникнуть в сущность даже отдаленнейших языков Азии и Африки. Если он при жизни своей напечатал только, как я сказал, небольшое «Сравнение русских слов с санскритскими», то этому причиной было, что у него филологические соображения связывались нераздельно с целым его историческим взглядом, изложенным в творении, над которым он работал постоянно (хотя иногда с большими перерывами) до своей смерти и которого не хотел издавать отрывками. Цельность его взгляда в этом отношении была такова, что, решившись напечатать «Сравнение русских слов с санскритскими», как сырой материал, он не согласился, несмотря на мою настоятельную просьбу, написать предисловие к этому труду, потому что ему казалось невозможным в подобном предисловии ограничиться одною филологиею, а выйти из ее пределов нельзя было по тогдашним обстоятельствам (дело было в 1854 году): «Все еще предисловия не написал, – привожу слова его из письма. – Да нельзя ли в Академических известиях без него обойтись?.. Легко сказать: надобно выразить мой особенный взгляд на филологию для народов славянских, т. е. затронуть вопрос народности и той живой струи, которая протекает во всех племенах славянских, делая их явлением особенным и резко отделенным от других народов. Да куда это меня заведет? и что под этим всем разуметь будут? Обыкновенно вступление пишется ad

captandam benevolentiam, а тут начало будете ad damantionem merendam. Подумайте об этом».

Позволю себе привести отрывок из другого письма, из которого видно, как высоко Хомяков ставил значение языковедения в смысле живой науки. Он говорит по поводу статей К. С. Аксакова о глаголах: «Если будет переведена, она даст Германии гораздо яснейшее понятие о гении славянских наречий и об их особенности. Думаю, что, впрочем, то качество, которым они отличаются в этом отношении, некогда было свойством первоначальной общей индоевропейской речи, утраченное другими, тогда как мы утратили богатство временного спряжения. На это есть указание в санскритском и греческом, а немецкое *ge-worden*, *ge-schuizi* есть то же качественное изменение, но там обломки. Я думаю, вы со мною согласитесь, и Германии ученой будет любопытно сохранение этого живого явления в организме живого языка. Господи! хотя бы мы свою грамматику поняли! Можете быть, мы бы поняли тогда хоть часть своей внутренней жизни, и то, что для нас нет тех болезней, которыми страдает Европа, а свои, и что вся система питания, лечения и, следовательно, общественной жизни должна быть своя. Много, много практической науки в науке отвлеченной».

Этими словами Алексея Степановича заключаю я настоящее свое письмо. В них выразилась мысль, одушевлявшая всю его ученую деятельность. Никто лучше его не сознавал, никто не ценил более его достоинство науки; но у него наука,

даже такая сухая наука, как филология, связывалась с жизнью; его ум во всем проникал к живому началу и все возводил в живое органическое целое.